

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Стихи Всеволода Рождественского, Анны Ахматовой, Николая Тихонова.	3
Юрий Верховский—Созвездие, лирическая поэма	8
А. Чапыгин—Сувенир, повесть	17
Александр Венедиктов—Мери из Владивостока, стих	73
Леонид Леонов—Случай с Яковом Пигунком, рассказ	80
А. А. Смирнов—Пути и задачи науки о литературе	91
В. Жирмунский—Вокруг „Кавказского пленника“ Пушкина	110
Б. Н. Томашевский—Проблемы ритма	124
В. Княжнин—Аполлон Григорьев	141
Б. Ларин—О „Кипарисовом ларце“	149 ✓
Письма В. Н. Боткина—сообщ. Н. Измайлова	159
Письма И. И. Панаева—сообщ. П. Горчинский	192
Письма Л. Н. Толстого к М. М. Лисицыну—сообщ. В. Срезневский	199
Неизданные материалы Чеховской комнаты в гор. Таганроге—сообщ. С. Балухатый	206
Русский язык и литературные интересы в семье Тургенева—сообщ. М. Клеман	222
Мелочи литературы: Неизданные стихотворения князя П. А. Вяземского, сообщ. С. Любимов—стр. 230; Неизданные стихотв. князя А. И. Одоевского, сообщ. С. Любимов—стр. 235. Эпиграмма Толстово-Американца на А. Пушкина, сообщ. Т. Б.—стр. 237. Запись Достоевского в альбом, сообщ. Б. Л. Модзалевский—стр. 238. Первая любовь Толстого, по неизданным дневникам, сообщ. Н. Фельтен—стр. 240. Биография Л. Н. Толстого, библиогр. заметка. В. Срезневский—стр. 246.	
Письмо в редакцию	248

ЛИТЕРАТУРНАЯ МЫСЛЬ

АЛЬМАНАХ

||

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЫСЛЬ“
ПЕТРОГРАД 1923

текст «Евгения Онегина». А. Марков не преследовал филологической цели в своей работе, и с этой стороны она проделана без малейшего филологического критицизма. Ему было важно проверить на безразличном материале выведенную им математическую формулу. И формула эта блестяще оправдалась, независимо от несовершенства подсчета.

Закономерности подсчетов могут быть именно такими фиктивными, цифровыми иисколько не отражать на себе реального значения изучаемого явления.

Поэтому всякой статистике должно предшествовать предварительное изучение, имеющее целью реальную дифференциацию явлений. Без этого—подсчеты иллюзорны, превращаясь в невинное, хотя и тягостное счетное упражнение.

Не следует забывать, что и при правильно произведенном подсчете в результате получается цифра, характеризующая только употребительность явления, а отнюдь не качество его.

Но и такая голая цифра, поскольку она не требуется только в качестве группового показателя частоты или редкости явления, требует большой осторожности в обращении с нею. Самое важное—это определить степень ее точности. Здесь мы выходим за пределы элементарной постановки подсчета и переходим к вопросам специально статистическим, обсуждать которые в связи с проблемой ритма неуместно.

В. Н. Княжнин.

Аполлон Александрович Григорьев.

(К столетию со дня рождения: 1822—1922).

I.

О поэте—Аполлоне Григорьеве *)

Устраивая юбилей, мы тщимся вспомнить неповторимый никогда в своей индивидуальности образ. О человеке в его взлетах и низменных падениях хотим сложить новую легенду!

Ничтожная горсть развеянного пепла прошлого... Но не коснуться ее заветных святынь в какой-то нужный для нас момент мы не можем.

С нежностью смотришь на пожелтевшие строчки писем и книг, на портреты... И прошлое сопреживается с ними и в них.

Вот он—вещественный пепел. Но и лирические стихи—тот же поэтический пепел, уцелевший дневник души.

Аполлон Григорьев не только в стихах, но и в своих повестях и рассказах, и не только в том, что называется *belles lettres*, но и в своих критических статьях (по крайней мере, в главнейших) всегда субъективен насквозь. Иная исповедь более скрыта, чем страница почти любого из сохранившихся его писаний. Вся деятельность, и творческая, и критическая, этого человека—сплошной рассказ о себе, вплоть до раздвоения личности в последние годы, когда уж было выпито через чур много, но этот двойник—Иван Иванович—все тот же Аполлон Григорьев.

Он сам говорил о себе—об Иване Ивановиче.

Иван Иванович—«человек жизни», ему «под сорок, а он все еще, даже до сих пор—вера в жизнь и жажды жизни», разумея под этим словом не слепое веяние минуты, а великую, не истощающуюся, всегда единую тайну...» «По старой памяти», он пишет стихи. Но «стихи его—это какие-то клочки живого мяса, вырванного, прямо с кровью, из живого тела». И дальше: «и потому они имеют значение только для тех, кто знает жизнь Ивана Ивановича, стало быть, для очень немногих, да и этим немногим известны только полосы жизни, а не вся жизнь Ивана Ивановича. Природа, вообще, кажется, собирается создать из Ивана Ивановича артиста, но, почему-то не докончила своего зачинания. Чтобы быть артистом, Ивану Ивановичу нужно было соединиться в самого себя, а он любил всегда лучше переживать жизнь в жизнь, чем, переживая и перерабатывая ее в сознании, передавать в письме, образе или звуке...»

Это—точный автопортрет.

Так и мы должны относиться к художнику. Нужно знать духовный облик Григорьева, и тогда, в связи с его творческим делом, и человек, и писатель—он предстанет перед нами.

*) Читано в торжественном заседании, устроенном Российской Академией Наук (Разрядом памятной словесности), совместно с Пушкинским Домом и Библиологическим Обществом 8 октября 1922 г., в память исполнившегося столетия со дня рождения А. А. Григорьева. Род. 20 июля 1822 г. 8 октября (25 сент. по ст. ст.) 1922 г.—58-ая годовщина смерти критика.

Так же, как в жизни его,—в стихах: рапсодичность, разорванность, темнота и несторийность, как хаотическая бессистемность архитектурного плана породившей его Москвы, запутанность формальных приемов.

Отсюда в лирике Григорьева (лирики, говорил он, «все равно, что певцы»)—импровизационный ее характер.

В этом—самая тесная связь каждой лирической волны с фактами жизни. Ее подъемы соответствуют строго душевным подъемам и переживаниям; ее падения—также.

Едва ли не отсюда и форма романса. Ибо три напряженных подъема насыщают я в истории лирической эпопеи Григорьева, и все три связаны с отвергнутой любовью. И разве меланхолический романс, так напрашивающийся на аккомпанемент самого грустного инструмента, гитары, не самая совершенная, свободная и почти адекватная до сих пор форма для выражения в слове любовных переживаний отвергнутого и отвергающего?

Григорьев—дитя той мещанской культуры, которой так крепок был наш быт, хранящий «жестокие правы», но колоритные права. Не «Катеринам» здесь по плечу борьба, не Катеринам в том, по крайности, виде, как предлагал их понимать Добролюбов. Ибо не отрицаем творится мир, а подвигом стойким и суровым.

Григорьев—не аристократ и не «народник», но подлинно народный человек—он звал себя «последним романтиком». Был ли он только последним? Он сомневался. И прав. Давно ли схоронили мы еще одного—Александра Блока?

* * *

Если в Замоскворечье, вверх от Москвы-реки, от Якиманской набережной, возвращаться по Малой Полянке, то невдалек от церкви Спаса—«Спаса в Наливках», на правой руке, будет старый, но и до сих пор плотный деревянный дом с мезонином. Калитка, ворота, за ними деревья—Григорьевский дом.

В последний раз я был здесь раннею весной. Сеялся дождь, и оттаивал снег, и кричали грачи... Мне казалось: все также, на старом месте «печальная», воспетая Фетом, береза кивает в окно мезонина... Но давно уже рассеялись и жильцы, и собиравшиеся у них гости, спорившие о Гегеле, читавшие стихи.

Высокий, одутловатый, сероглазый Григорьев за своими «брязгающими форточками», с восторженностью, разлитою в лице, с профилем Шиллера, чуткий к стилю Фета, выпустил сборник стихов. Если-бы мы знали только «Лирический Пантеон» и «Гаммы», Григорьев явился бы для нас первым из всех трех. Може всех, он был зрее всех. Но случилось не так. Он выпал из цепи, и его место занял другой Аполлон... Майков. И вот, мы твердили: Майков, Полонский и Фет. А нужно: Фет, Полонский, Григорьев.

Их было три «певца». Майков же—по натуре более живописец,—говорил сам Григорьев,—«чем певец». Мраморный Майков далек. А их души были в братском сродстве, и берег, откуда пустились они в открытое море, у них был один. Особенно для Григорьева с Фетом.

...Как нам казались сладки
Поэты, нас затронувшие, все:
И Лермонтов, и Байрон, и Миоссе.

Да, Байрон, и Лермонтов, Гете, Шиллер и Гейне, но пуще всего—французский романтизм: Ламартин, Гюго и Миоссе, Сенанкур и Жорж Занд. Барышни Корш увлекались Жорж Занд (кто не увлекался ею в то время, если в Москве могло выйти, на русском языке, издание—точная копия французского—книги Поля Жакоб «Галлерей Женщин Жорж Занд», отпечатанной в лучшей тогдашней московской типографии Августа Семена, в 1843 г.!). И одну из этих барышень, Антонину, полюбил Григорьев совершенно романтическою, как полагалось, скрытною, первую любовью. Но Григорьеву предпочли Кавелина. И Григорьев бежал в Петербург.

Эта первая лирическая волна нашла свое выражение в первой и единственной вообще, изданной при жизни его, книге, маленькой книжке стихов.

Здесь встретите вы все аксессуары «байроновско-французского», как выразился когда-то Фет, «романтизма», и романтизма лермонтовского, прибавлю я. До такой степени, что даже в заголовках исчезают классические женские имена пушкинской поры, и вместо них вы найдете имена героинь Жорж Занд: К Лелли, К Лавинии.

Только масонские «Гимны», «слова о великой радости», по выражению Ал. Блока,—стоят несколько в стороне. Какое-то таинственное лицо, и до сих пор неразгаданное, взвело Григорьева в круг московских масонов. Но думается, что и здесь не мало дало поэту, читавшему, конечно, Revue Indépendante 1842—1843 гг., масонство в романе Ж. Занд—«La comtesse Roudolstadt».

Лучшее стихотворение этой поры—«К Лавинии» (Москва, дек. 1843 г.):

Для себя мы не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы,
И к небесному своду мы двое
Не пошли бесполезной мольбы.

Независимо от вопроса (который интересно поставить и решить) о том, откуда этот одинокий для названного круга поэтов и этой поры, этот трехстопный анапест, нельзя идентично не отождествить его с «Silence» Альфреда де Винни.

Le juste opposera le dedain à l'absence
Et ne répondra plus, que par un froid silence
Au silence éternel de la divinité

Что из того, что эти французские стихи написаны в 1862 г.? «Все произведения Винни составляют одно целое», говорит Г. Лансон: философия «Les destinées» («Судьбы», 1864 г.) уже содержится в библейских поэмах 1822 и 1826 гг. этого поэта.

Свою философию Григорьев выразил в следующих стихах (1844 г., «Листки из рукописи скитающегося софиста»):

«Да! религия моя,—писал он,—как и религия целого современного общества,—просто религия Одина, религия борьбы с сознанием падения, религия страдания беспредельного, стремления бесцельного во имя человеческого благородства и величия».

И к этим словам можно бы привести параллели из Байрона (григорьевский перевод «Прометея») или из Винни. Вся жизнь солдата, которого так любил французский поэт, «состоит в безропотности и отречении. Подобное же тяготеет и над нами, и честь состоит в том, чтобы молчать и претерпевать это».

Но Григорьев знал и другие, неизмеримо более высокие слова, делающие его близким родным истокам русской философской мысли.

В том же 1844 г. и в том же самом своем дневнике он писал: «Ко всему я в состоянии божественной иронии, ко всему, кроме Jensets. Нормальны мне кажется изолированная жизнь самости в себе. Но это все ведет меня к правилу Тибетского мистицизма, что лучше спать, чем жить. Нет, жить, но не для того, чтобы жить, а чтоб жизни стремиться к идеалу, ибо не существует только потолику, поколику существует в идеале, в «Слове» («Листки из рук.»).

Другой поэт, с чуткою прозорливостью, ему свойственной, не зная еще тогда о существовании приведенного выше отрывка, сказал: «Григорьев мог бы слышать «гад морских подземный ход и дальней лозы прозябанье». Его голос был бы подобен шуму «грозных сосен Сарова». Он побеждал бы единим манием «костяного перста» (в статье «Судьба Ап. Григорьева»—Ал. Блок).

Так. Но Григорьеву суждено было остаться «последним» (в ковычках) романтиком.

Григорьев любил жизнь и всякое ее цветение, ибо и сам он родился не на пустом месте, а был цветением народа и эпохи. Но жизнь требует подвига и преодоления. Мало знать и говорить, необходимо действовать в согласии с заветами мысли.

Если смиреннейший из смиренных, Александр Матвеевич Сухарев, один из замечательнейших русских людей, должен был склониться под невыносимо тяжким испытанием его человеческой совести и кончить жизнь в глуши под затвором, то что же спрашивать с неуравновешенного и страстного Григорьева?

В первой половине 1850-х гг. он в Москве спровадил свою «вторую молодость» и в тридцать лет испытал вторую, но столь же незадачливую любовь.

Для него, как для древних, «золотой век» был всегда в прошлом. И не потому ли столь увлекательными кажутся сопреживания с ним этого прошлого? Но что тогда, в 50-х гг., были дни, яркие своей молодостью и влюбленностью, говорят стихи—целью 17 стихотворений «Борьбы».

Недаром же Григорьев давно уже променял фортепьяно на гитару и, «выла мывая пальцы», готовился стать виртуозом-гитаристом, на манер друзей-цыган или Михаила Стаковича и знаменитых Сихры и Высоцкого. Окрашенные романтическою чувствительностью, эти романсы—любой ведь из них можно спеть!—лучшее и своеобразное, и вечное в русской лирике.

С легкой руки Пушкина, цыганство вошло в русскую литературу как-то сразу полноправным элементом. Вспомним только Баратынского, стихи М. Стаковича, изумительные сцены в «Очарованном Страннике» Н. С. Лескова. Но, заевав право на внимание к себе, оно оказalo воздействие и на некоторых из наших поэтов. Оно содействовало едва ли не более всего созданию той песни-романса в лице Григорьева, Фета и частью Полонского, протянувшись в нашу современность вплоть до Александра Блока.

Цыганство оправдывалось Григорьевым не только идеологически (в них он видел хранителей текстов и мотивов русской народной песни и важный элемент в отношении к разработке музыкальной, именно гармонической, стороны ее), но и потому, что непосредственная страстность цыганского пения, это свойство цыганских певцов и певиц «томить душу», было сродни его сложной натуре, так воспринимчивой ко всему непосредственному в своей свежести, яркому, «цветному».

Если не подлинной крови и плоти стоила Григорьеву жизнь, а, стало быть, и стихи, то метафорически он был более чем прав. Вот подите:

Что мне в них, в простодушных речах
Тихой девочки с женской улыбкой?

А между тем, образ Леониды Яковлевны Бизард он хранит в сердце своем до конца дней. Позма «Venezia la bella» вся насыщена воспоминаниями о ней, и ей же посвящен сонет, написанный без одного дня за 2 месяца до смерти.

Автобиографизм, не столь явный, в чисто лирических вещах, просступает до полного тождества (с тем прозаическим наследием Григорьева, которое дошло до нас) в лиро-эпических. Так обстоит дело с поэмой—«Вверх по Волге»—третьей и последней волной его поэтического творчества.

Автор словно перенесся в стихи 2 своих письма—к Эдельсону и к Страхову—о своей последней, вновь неудачной, любви, в которой отвергнутой оказалась женщина. И здесь чутье художника подсказывало ему форму романса, романской строфы:

Увы! Мне стыдно, может быть,
Что мог я так тебя любить...
Ведь ты меня не понимала!
И не хотела понимать,
Быть может, не могла понять,
Хоть так умно подчас молчала.

Было время, когда наши бабушки, тетки и даже матери некоторых из нас знали и распевали Григорьевские стихи (вместе с романсами Варламова), даже не подозревая, кто их автор, как распевалось и Некрасовское и некоторых других. Покойный Блок слышал еще зимой 1915 г. в театре «Миниатюр» в оперетте «Цыганские песни в лицах» (либретто Куликова) слова из «Импровизаций странствующего романтика»:

Твои движения гибкие—и т. д.

«Цыганскую же Венгерку» можно слышать и посейчас в любом, вероятно, цыганском хоре и в исполнении отдельных солистов, как де-Лазари, Катюша Соколовина и др.

И разве во всем этом не грамота на некоторое, хотя бы и относительное, бессмертие? И разве не правда слова Тургенева, сказанные им как-то раз Фету, что он должен быть счастлив, если только очень немногие из его стихотворений сохранятся в памяти людской от полного забвения?

Я не могу указать равного в русской лирике своеобразию «Цыганской Венгерки». Ни такой сцепленности в одной вещи элементов поэта, певца и музыканта, ни такой ухватки духа народной песни наряду с гармонизацией ходов на цыганский манер, ни такого страстного беснования, ни той одушевленности беззаветной, с какою дается в слове «последнее целование» своей любви.

Жизнь есть, воистину, «великая, никогда не истощающаяся, всегда единая тайна». Она приоткрывается в «особенном цвете и запахе» отдельных эпох, говоря словами Григорьева-критика, «о всем неповторимом своеобразии каждого народа. И тот, кто так любил свой народ, так любил наш русский язык и с такой поразительной чуткостью умел распоряжаться его данными,—да не забудем того во век!

II.

Письмо Ап. А. Григорьева к Е. Н. Эдельсону.

[Дек. 1859 г.—янв. (?) 1860 г. Спб.]

Чемъ сильнѣе любишь человѣка—тѣмъ чувствительнѣй отъ него оскорблениe—это ты самъ какъ психологъ долженъ хорошо знать.. Приди по праву дружбы колотить обухомъ по больному мѣсту—дойти хоть и пьяному до того, чтобы, какъ пьяный кучерь, обратиться какъ къ б.. къ женщинѣ, которая (по крайней мѣрѣ тебѣ) не подала на такое предложеніе ни малѣйшаго повода—и все это—изъ за кого? Изъ за подлой и настойщей б.., прикрытой названіемъ моей законной супруги.. Не говори мнѣ, что изъ за отца... Отецъ съ Аполлономъ Майковымъ присѣть уже мнѣ и привѣтъ и чуть что ли не извиненіе: видимое дѣло, что и его и тебя это адское чудовище настроило!

Посылаю тебѣ письмо, полученное мною отъ Фета. Въ послѣднее время—я, доведенный до крайности озлобленія, видѣть надѣть собою столько явныхъ опыта ми-лосердія Божія, судящаго меня человѣка «безъ совѣсти» иныхъ судомъ, чѣмъ ты—и чѣмъ я—всѣхъ тайнаго сердца—что письмо уже меня и не удивило. Итакъ—по милости моего Господа—я не буду подлецомъ передъ тобой и твоей женой. Да и вообще—теперь нужна только энергія: есть средства вынырнуть.

Деньги отцу—пятьсотъ рублей посланы во вторникъ. Хорошо было бы если бы я вертѣлся, какъ флюгеръ, по манію моихъ друзей!.. Высоконравственно было бы бросить женщину, которую я люблю и въ которой есть еще искра божья—ради законныхъ отношений къ экстракту всяческой лжи, гнусности и мерзостей, называемому Лидіей Федоровной...

Нѣтъ—любезные друзья! Я вамъ отдать нѣкогда Лидію Федоровну потому, что этимъ совершаю надъ нею законный судъ за всѣ ея пакости—но я руками, ногами и зубами схвачусь за женщину, которую я люблю и которая меня любить, хоть она не образована и не говорить на разныхъ діалектахъ.

А главное: «Господь заступникъ мой—кого убоюся?.. Онъ зналъ и видѣть, что, несмотря на всѣ мои безобразія, я честно и искрение служилъ и служу тому, что считаю моимъ нѣрованіемъ—и онъ по великой благости своей—спасаетъ меня.

У меня въ душѣ такая смѣсь и злобы и любви къ тебѣ, что мнѣ не хочется кончать письма.

Ну, миръ, что ли?.. Да отрѣшишь ты въ возрѣніяхъ на меня отъ индрав, ственности и помиришь съ отсутствіемъ ея во мнѣ какъ съ органическимъ не- достаткомъ.

Вѣдь намъ все-таки жить и идти рука объ руку вмѣстѣ. Больше ни тебѣ ге съ кѣмъ, ни мнѣ не съ кѣмъ... Возьми же меня какъ фактъ!

Приведенное выше письмо к Е. Н. Эдельсону получено мною от его зятя, Александра Александровича Шульца, члена Учен. Комитета Мин. Земледелия и затем Наркомзема, недавно скончавшегося, 8/21 ноября 1922 г., на 68-м году от роду. А. А. был женат на самой младшей дочери Евг. Н. Эдельсона, Юлии Евгеньевне, ныне тоже покойной (1861—1919). Отличный хозяин, ученый, большой книголюб, владелец когда-то интересного музея в одном из уездов Казанской губ., где было собрано не мало вещей, имевших отношение к этому краю (музей сгорел во время борьбы с чехословаками на Волге), и наконец мемуарист, ревностно заботившийся о том, чтобы сохранить прошлое в его вещественных и духовных памятниках, он много помог и мне в моей работе над эпохой 1840—60 гг. Да будет ему легка земля!

Письмо Григорьева без подписи; но принадлежность его последнему несомненна (почерк, пунктуация, особенности стиля и т. д.). Даты нет и потому датируется приблизительно (обоснование датировки см. ниже).

Евгений Николаевич Эдельсон (род. 12 окт. 1824 г., ум. 8 янв. 1868 г. ст. ст.)—москвич, хотя ранние годы его прошли в Касимовском у. Рязанской губ. По окончании Московского Университета в 1846 г., до 1863 г. жил в Москве, занимаясь почти исключительно литературной деятельностью, в качестве критика. Был одним из членов кружка так называемой «молодой редакции» журнала «Москвитянин» и ближайшим другом А. Н. Островского и Ап. Ал. Григорьева. Сотрудничал в «Моск. Вед.», «Москвитянине» (в ежемесячном обзоре журналов), в «Русском Слове» (1859 г.), в «Библиотеке для чтения» (с 1860 г.—при Писемском, и с 1863 г.—при Боборыкине, в качестве со-редактора и соиздателя последнего), в «Отеч. Зап.» (1867 г.—при Дудышкине), во «Всемирном Труде» и «Журн. Мин. Нар. Пром.» (1867—68 г.г.). Отдельно изданы: перевод «Лаокоона» Лессинга (в 1859, с предисловием и примечаниями Э.) и «О значении искусства в цивилизации» (Спб. 1867 г., первоначально в ж. «Всем. Труд»¹). Писал Эдельсон гл. обр. по вопросам литературной критики, отчасти же психологии (в философском отношении он придерживался Бенеке) и театра. Я лично еще надеюсь, что хотя к «столетнему» (?) юбилею со дня рождения этого талантливого и несправедливо забытого писателя удастся выпустить небольшую, давно уже подготовленную о нем работу. Независимо от того обстоятельства, что при изучении известной эпохи должны быть обследуемы и все «второстепенные» явления литературы (причем оказывается иногда, что второстепенность их была только кажущаяся), Эдельсон интересен и сам по себе: своими критическими суждениями и оценками, в некотором смысле не потерявшими силы и до сих пор, так и своими отношениями, своею близостью к различным выдающимся людям: к Островскому, Григорьеву, Писемскому, Боборыкину, Майкову и т. д.

Несмотря на то, что с 1854 г. Эдельсон был постоянным (в качестве домовладельца) жителем Сивкова Бражка в Москве, ему часто, почти каждогодно, приходилось бывать в Петербурге, благодаря одному тяжелому делу, которое он вел, по доверенности своей тещи, в Сенате. Григорьев появился в Спб. в последнюю четверть 1858 г., приблизительно в марте 1859 г., сблизился он с той женщиной, Марией Федоровной, «супружеской барышней», о которой идет речь в письме. Сопоставляя данные позы «Вверх по Волге», имеющей автобиографическое значение, и данные письма Григорьева к Н. И. Страхову от 20 марта 1862 г. из Оренбурга, можно установить приблизительную дату письма к Эдельсону.

Вернувшись из-за границы, Григорьев поселился в номерах на Гончарной ул., где, повидимому и познакомился с Марией Федоровной²). В декабре 1859 г. они жили на квартире уже в доме Логинова³, выходившем (скорее всего: в то время в Спб. было несколько Логиновых—домовладельцев) на Лиговку—Лиговский канал и Хлебный переулок. В этот дом, в эту квартиру, и в декабре, вероятно, месяце являлся Эдельсон, посещением которого вызвано настоящее письмо.

¹) В Эп. Слов. Брокгауз-Эфрона указывается еще одно отд. изд.—«Щедрин и новейшая, сатирическая литература» (М. 1859).

²) Ср. «Беседы с Иваном Ивановичем о нашей соврем. словесности». «Сын Отеч.» 1860, № 6. Подробнее о М. Ф. см. «Материалы для биографии Ап. А. Григорьева». Птрг. 1917 (в приложениях, стр. 392).

³) См. «Атлас тридцати частей Спб.» Н. Цымбова Спб. 1849 и «Алфавитный указатель» к нему. С Гончарной естественно было переехать на Лиговку—ближе всего.

«Было время,—писал Григорьев к Страхову,—зимою 1859 года в декабре—холодной нетопленой квартире моей в доме Логинова на кровати лежала бедная, больная, умирающий ребенок,¹) и добрый, великодушный Евгений Эдельсон явился ко мне проповедником семейных обязанностей. Он... приходил советовать мне бросить все это, удивлялся, что не брошен в воспитательный дом и не отнят у матери первый плод ее первой сколько-нибудь человеческой привязанности. А вот этот же эпизод, рассказанный в поэме:

И снова памяти моей
Из многих горестных ночей
Одна ужасная предстала...
Одна, Некрасовская, ночь
Без дров, без хлеба... Ну, точь в точь
Как та, какую создавала
Поэта скорбная душа,
Тоской и злобою дышла...
Ребенка в бедной колыбели
Больные стоны моего,
И бедной матери его
Глухие вопли на постели.

Дня за два-за три, заезжал
Друг старый... Словом донимал
Меня он сильну очень строгим;
О долгѣ жизни говорил,
Да связь беспутную бранил,
Коря меня житьем убогим,
Позором общим,—словом: многим...

Нужно знать, как горячо, как братски любил Эдельсона Григорьев, Эдельсона, которого он называл «рыжая половина моей души», и дружба к которому, а равно и к Островскому, удерживала—так казалось по крайней мере ему—от желания покончить с жизнью,—чтобы понять то раздражение, ту «смесь и злобы и любви», под влиянием которых было написано письмо. Предложение «мира» было, повидимому, принято, судя по поэме:

Он помощи не предлагал...
А я—ни слова не сказал.
Меня те речи уязвили.
Через неделю—ло чертей
С ним, с старым другом лучших дней,
Мы на Крестовском два дня пили,
Нас в часть за буйство посадили.

Итак, письмо к Эдельсону должно быть отнесено к концу декабря—самому началу января (?) 1859—60 г.

Таков этот эпизод из третьей и последней драмы в жизни Григорьева. Зная теперь многие обстоятельства этой жизни, мы поймем ужасное душевное состояние его, поймем грубые и тяжелые строки письма. Неизжитая и до конца дней любовь к Л. Я. Бизарду, журнальные неудачи (разрыв с «Русским Словом», отказы в сотрудничестве, позже недоразумения с Достоевским), долги, попреки отца, Поголина, довольно таки дикое обхождение друзей, чрезвычайно тяжелые отношения с законной женой, Лидией Федоровной, проргикания в печати; затем безымянный доход III-ему Отделению, будто бы Григорьев—глава обширного политического заговора, и установка, вследствие сего, тайного за ним надзора²) в январе 1861 г. (к счастью, об этом виновнику суматохи ничего не было известно) и наконец, в том же году, долговая тюрьма на 5 лет, т. к. «кормовые» истец готовился внести за весь этот срок, и только тюремное начальство уговарило его ограничиться одним годом,—было от него бежать в Оренбург, на службу в кадетском корпусе.

В Оренбурге и закончился этот роман трагическим разрывом, и памятник ему водружен поэмою «Вверх по Волге». Ее нельзя оторвать от жизни Григорьева. Написанная (и тогда же напечатанная, в 1862 г.) тотчас же вслед за событиями, и чуть что не во время самой поездки по Волге в Спб.—такое впечатление, она напоминает собою письмо, в котором доказывается то, что не было сказано или доказано письмом.

¹) Появление в декабре ребенка указывает на то, что близость с М. Ф. у Григорьева установилась в феврале—марте 1859 г.

²) Сообщением об этом я обязан А. А. Шилову.

зано в свое время определенному лицу, личное интимное письмо в стихах, где автор скрыл только имена и смягчил крайности, но все остальное только *Wahrheit*, не *Dichtung*.

Выше, сопоставляя письма и поэму, я привел один отрывок из последней, могущий послужить и в качестве примера крайнего автобиографизма григорьевского творчества. Но таких примеров десятки и в данной поэме, и в других вещах этого писателя. Почти всегда у этого человека жизнь—личная беседа—переливается в заочную беседу—творчество, и грянь между тем и другим условна разве лишь формально: одно записано, другое нет, да и то не всегда так. Но заочная беседа для него все та же личная беседа, совопросник всегда не безразлично кто, совопросник всегда определенное лицо, в последние годы—даже сам раздававшийся Григорьев (он и его *alter ego*—Иван Иванович), и даже, как в «Якоре», сама редакция, т. е. тот же Аполлон Григорьев, обращающийся к редакции, к самому себе: «А все таки, ты постой, мать моя!.. Я тебя и с другой стороны доеду». Мало, однако, сказать определенное лицо: это дорогой для автора человек, друг, интимно ему близкий, которого убеждения и верования, в той или иной мере, совпадают с авторскими, или же человек просто любимый, кому только можно высказать свои заветные, задушевные мысли.

Характерно в ту самую эпоху, когда так безапелляционно утверждалось, что настояще яблоко лучше нарисованного, и живая девушка лучше ее изображения, является олицетворение доказательство от противного, является писатель, который принял бы и эту незамысловатую тезу (ведь у него творчество было «наперед подорвано жаждою жизни»), но для которого и творчество, и жизнь были нераздельны, были одним процессом всеединства.

Б. Ларин.

О Кипарисовом Ларце.

Иннокентий Анненский почти не известен был при жизни, как и теперь.

«Этого несравненного поэта, которым гордилась бы любая литература, хорошо знают у нас только немногие любители поэзии». Так говорил о Тютчеве в 1895 г. Вл. Соловьев. Такова же судьба поэзии Анненского.

Оба—поэты не национальные, и тем не менее—первостепенные.

Они и в свои дни— дальние; никогда не в русле настоящего, никогда не обращены к толпе.

«Кипарисовый Ларец» мы читаем не жадными глазами современников, нетерпеливо ища новизны, а пристально, задумчиво, как потомки.

И не потому лишь, что мы за гребнем «страшных лет России», а потому, что великие дела искусства всегда словно вдали.

«Кипарисовый Ларец» и в 1910 году¹⁾ был несвоевременным. Анненский замкнул его в эту лучшую оправу дел искусства—магическую даль от своих дней.

Не современная и вместе с тем подлинно поэтическая книга стихов именно для нас:

Не таково ли кажущееся противоречие восприятия всякой исключительной поэзии?

И потому, какие бы ни указал признаки и свойства этой лирики, какие бы ни открыли сочетания и соотношения в ней художественных элементов,—нет решимости утверждать, что они отличительные, собственные.

Даже когда нет никаких аналогий, эти свойства кажутся присущими истинной поэзии, а не поэту.

А когда аналогии есть, они не побуждают ни к каким утверждениям о материальном преемстве (единение Анненского очевидно); они укрепляют в том же убеждении, что исследование обнаруживает здесь непреложный и общий эстетический канал.

Измерить что бы ни было можно только общей меркой, тем более целесообразной, чем она яснее определена. Я применю к стихам Анненского ту общую эстетико-лингвистическую схему, какая построена мною в др. работе²⁾, и думаю, что при этом ясно выступит его своеобразная величина. Но определена она не будет. В общей схеме нет еще таких тонких делений, которыми без остатка можно бы было выразить неповторимое в эстетических достоинствах Анненского. Это—предел, я ишу крайнего приближения, но последних определяющих назвать не сумею.

Не пришло еще время, сколько я знаю.

¹⁾ Когда вышло первое издание «Кип. Лар.».

²⁾ См. Разновидности художественной речи в печатающемся сборнике статей: Поэтическая Речь. (Ред. проф. Шербак).